





# Одинокий мужчина





*Посвящается Гору Видалу\**

Пробуждение означает *быть здесь и сейчас*. Некоторое время рассматриваешь потолок, потом опускаешь глаза и опознаешь в распростертом теле самого себя, следовательно, я *есть, сейчас есть*. То, что сейчас я *здесь*, вопреки всему, не так уж и плохо, ведь именно *здесь* мне и надлежит находиться утром: в месте, именуемом домом.

Но *сейчас* значит больше, чем сей час, день, год. Это леденящее напоминание: позади еще один день, еще один год. И каждый день отмечен новой датой, отодвигающей предыдущие в прошлое, — пока, рано или поздно, может... нет, неизбежно, ОНА придет.

Щекочущий нервы страх. Болезненное отрицание того, что впереди — неизбежность смерти.

Тем не менее головной мозг педантично приступает к своим обязанностям — ноги выпрямить, поясницу согнуть, пальцы сжать и расслабить. Наконец нервная система посылает первый приказ телу: ВСТАТЬ.

---

\* Гор Видал (1925—2012) — писатель, драматург, близкий друг Кристофера Ишервуда. — *Примеч. ред.*

Тело покорно отделяется от кровати, морщась из-за артрита в пальцах и левом колене, ощущает легкую тошноту в желудке — наконец, голышом ковыляет в ванну, где опорожняет мочевой пузырь и взвешивается: все те же шестьдесят восемь килограммов вопреки изнурительной гимнастике. Теперь к зеркалу.

В нем отражается не лицо, а воплощение предопределенности. Развалина, в которую он превратил себя за эти пятьдесят восемь лет. Унылый беспокойный взгляд, огрубевший нос, уголки рта опущены под воздействием собственной желчности, обвисшие мышцы щек, увядающая шея в сетке мелких морщин. Загнанный взгляд измученного пловца или бегуна, которому не дано остановиться. Человек будет рвать жилы до самого конца. Не потому, что герой. По-другому он просто не мыслит.

Глядя в зеркало, он видит множество лиц: ребенка, подростка, молодого человека и уже не очень молодого, старика — множество лиц, хранимых подобно ископаемым на полках и, как и они, давно умерших. К нему, еще живущему, адресован их вопрос: посмотри на нас, посмотри — мы умерли, так чего же ты боишься?

Его ответ: раньше это протекало так постепенно, незаметно. *Страшно, когда подталкивают.*

Человек все смотрит и смотрит. Губы приоткрываются, он дышит через рот. Наконец мозг нетерпеливо приказывает мыться, бриться, причесываться.

И прикрыть наготу. То есть одеться перед выходом наружу, к другим людям; и одеться соответственно, чтобы его внешность и поведение должным образом были ими опознаны.

Он покорно моется, бреется, причесывается, смиряясь с ответственностью перед другими. Он даже благодарен за предоставленное ему место в их рядах. Он знает, чего от него ждут.

Знает свое имя. Его зовут Джордж.

Одетый, он постепенно превращается в *него*, то есть в Джорджа, — хотя это еще не совсем тот Джордж, которого люди ждут и готовы признать. Позвонившие ему в этот ранний час были бы поражены, даже напуганы, если бы вместо предполагаемой персоны слышали голос такого далекого от готовности полуфабриката. Однако это, конечно, невозможно — имитация голоса знакомого им Джорджа почти идеальна. Даже Шарлотту удается обмануть. Хотя пару раз она уловила странные нотки и спросила: «Джо, у тебя все в порядке?»

Он пересекает переднюю комнату, которую называет кабинетом, и спускается вниз. Лестница делает поворот, она узкая и крутая. Ты задеваешь перила локтями, приходится опускать голову — даже Джорджу, при росте в пять футов восемь дюймов\*. Дом небольшой и компактный. В нем Джордж чувствует себя защищенным; тут нет места одиночеству.

---

\* 172 см. — *Примеч. ред.*

И все же...

Представьте себе пару, живущую день за днем, год за годом в этом тесном пространстве: плечом к плечу стряпая что-то на общей крошечной плите, протискиваясь друг мимо друга на узкой лестнице, бреясь рядышком перед маленьким зеркалом в ванной. В постоянной толкотне, соприкосновении двух тел, то нечаянном, то намеренном — чувственном, агрессивном, неловком, нетерпеливом, яростном или любовном, — так представьте, насколько глубокие, пусть и невидимые следы они оставляют повсюду! Дверь в кухню слишком узка. Двое в спешке, с тарелками в руках обречены сталкиваться тут. И потому каждое утро здесь, в конце лестницы, Джордж испытывает шок, будто это пропасть, где внезапно обрывается его путь. Здесь он останавливается, словно узнавая впервые и все с той же болью: Джим умер. Он умер.

Он стоит тихо, иногда молча, иногда с коротким животным стоном, пока спазм не отпустит. Потом уходит в кухню. Эти утренние приступы слишком болезненны, в них нет ничего сентиментального. Постепенно ему становится легче. Примерно как после сильных судорог.

Сегодня муравьев еще больше: ручейками они текут по полу, взбираются по раковине, угрожающе стремятся к шкафчику, где он хранит джем и мед. Упрямо поливая их ФЛИ-спреем, он вдруг видит себя со стороны: злобный упрямый старик, счита-

ющий, что вправе убивать этих замечательных полезных насекомых. Живой, убивающий живое под наблюдением сковород и кастрюль, ножей и вилок, банок и бутылок — предметов, безучастных к ее величеству эволюции. Почему? Ну почему? Может, это происки некоего Космического врага, Всемирного тирана, который затмевает наш взор с целью остаться неопознанным, и потому настраивает нас против наших естественных друзей, жертв его тирании? Но, прежде чем Джордж додумался до этого, муравьи уже убиты, собраны мокрой тряпкой и с потоком воды отправлены в слив раковины.

Он готовит себе яйцо пашот с беконом, тосты и кофе, потом садится завтракать за кухонный стол. А в голове в это время крутится без остановки детская песенка, которую еще в Англии, будучи ребенком, он слышал от няни:

Яйцо пашот на хлеб кладешь...

(Он видит ее так же ясно, с седыми волосами и блестящими мышинными глазками; маленькое пухлое тельце вносит в детскую завтрак на подносе, с трудом переводя дух после крутого подъема. Она всегда проклинала эти лестницы, называя их за крутизну деревянными горками — одна из магических фраз родом из детства.)

Яйцо пашот на хлеб кладешь,  
Кусочек съешь — еще возьмешь!

Ах, этот трогательно непрочный, обволакивающий уют детских радостей! Здесь Маленький Хозяин



уплетает свой завтрак, а улыбчивая Няня вселяет в него уверенность в том, что все прекрасно в их крошечном хрупком мирке!

Завтрак с Джимом зачастую был лучшим временем наступившего дня. Самые душевные разговоры случались у них именно за второй-третьей чашкой кофе. Обсуждалось все, что только приходило в голову — включая, конечно, смерть; есть ли что-нибудь после нее, и если есть, то что именно. Обсуждали даже преимущества и недостатки внезапной гибели — в сравнении с осознанием близости кончины. Но сейчас Джордж, хоть убей, не мог вспомнить, что именно об этом думал Джим. Подобные разговоры не ведутся всерьез. Они кажутся слишком теоретическими.

Допустим, мертвые навещают живых, и Джим мог бы взглянуть, как живет Джорджу. Был бы он доволен увиденным? Стоило бы оно того вообще? В лучшем случае ему, подобно любопытному туристу, было бы позволено сквозь магический кристалл бросить взгляд из бескрайнего вольного мира на тесную конуру, где узник из мира смертных уныло пережевывает свой завтрак.

В гостиной темно и тесно — низкий потолок, книжные полки вдоль стены напротив окна. Чтение не сделало Джорджа благороднее, лучше или существенно мудрее. Но он привык вслушиваться в голоса книг, выбирая ту или иную в соответст-

вии с сиюминутным настроением. Он использует их весьма беспардонно — вопреки почтительности, с которой ему приходится говорить о литературе публично, — как хорошее снотворное, как лекарство от медлительности стрелок часов, от ноющих болей в области желудка, как средство от меланхолии, стимулирующее вдобавок ко всему работу кишечника.

Выбирает одну из книг он и сейчас, с поучениями Рёскина:

*«...Школьниками вы любите палить из духовых трубок, но ружья и “армстронги” — по сути, те же изделия, лишь более искусно выполненные. И, к прискорбию, подобно тому, как в детстве это было игрой для вас, но не для воробьев, так и сейчас это развлечение для вас, но не для малых птиц графства; что же до черных орлов, вы вряд ли стреляете в них, хотя я могу ошибаться».*

Несносный уса́тый старикан Рёскин, неизменно самоуверенный, раздражительный, ворчливый, ругающий англичан, — сегодня это отличный спутник для пятиминутных посиделок в туалете. Ощутимая активность кишечника подгоняет Джорджа вверх по лестнице, в ванную, с книгой в руке.

Сидя на толчке, он может смотреть в окно. (С другой стороны улицы видны его голова и плечи, но не то, чем он занят.) Серое прохладное утро

калифорнийской зимы; низкое небо перенасыщено влагой тихоокеанского тумана. Внизу, с берега, небо и океан составляют одинаково блеклое целое. Невозмутимые пальмы и пушистые олеандры стряхивают с листьев влагу.

Это улица Камфор-Три-лейн. Может, камфорные деревья здесь когда-то и росли, но сейчас нет ни одного. Но, вероятнее всего, название выбрано ради красного словца основавшими здесь колонию в начале двадцатых годов первыми поселенцами, сбежавшими от духоты делового центра Лос-Анджелеса или от снобизма Пасадены. Они называли причудливыми именами свои оштукатуренные бунгало и обшитые доской хижины — например, коттедж «Куб’рик», коттедж «До Вольно». Улицы здесь называли аллеей, дорогой, тропой, словно их прокладывали через дремучие леса. В мечтах ее обитателей местность обретала черты субтропической английской деревни с богемными замашками: этакие Уютные Гнездышки, где можно в меру рисовать, в меру писать и без меры пить.

Здесь можно вообразить себя последними эскапистами и индивидуалистами двадцатого века, день и ночь вознося хвалу провидению за побег от гибельного городского духа коммерции. Местные любили небрежность и богемность, были неутомимо любопытны к чужим делишкам, но бесконечно снисходительны. Разногласия решали с помощью кулаков, бутылок или подручной мебели, но

не адвокатов. К счастью, большинство из них не дожили до эпохи Больших Перемен.

Перемены начались в конце сороковых, когда с востока сюда устремились толпы ветеранов Второй мировой с новыми женами в поисках лучших мест для выведения потомства на солнечном юге — прелести которого они успели оценить краем глаза, отчаливая в опасные дали Тихого океана. А что может быть лучше для растущего семейства, чем склоны холмов в пяти минутах от пляжей, причем без сквозных дорог — этой угрозы жизни будущих несмышленишек? Вот таким образом привыкшие к джину и поэзии Харта Крейна коттеджи постепенно заполнились любителями телевизора и кока-колы.

Поколение ветеранов войны, несомненно, приспособилось бы к богемным ценностям местных жителей; некоторые даже пристрастились бы к перу и рисованию между запоями. Но жены четко и оперативно объяснили им, что семейная жизнь с богемной несовместима. Семье и детям нужны надежность, ипотека, кредит, страховка. И нечего даже думать о смерти, не обеспечив как следует свое семейство.

И потомство не заставило себя долго ждать: появлялось один за другим, мал мала меньше. Прежнюю тесную школу окружили новые корпуса. Скромный рынок на набережной превратился в супермаркет, а на Камфор-Три-лейн появились два дорожных знака. Один запрещал поедать кресс-